

Вена похожа на гигантский купол. Это не мы к ней приближаемся, это она опускается на наш поезд своим расписным небом.

Раз-два-три, раз-два-три!

Вот над нами уже своды вокзала. Вальсируем к выходу.

— Женщинам не поднимать чемоданы и не участвовать в разгрузке вагона!

Непонятно, то ли это нужно повторить ещё раз, то ли каждому в отдельности следует уточнить свой пол. Представитель, встречающий нас, решает повторить это ещё раз. Женщинам, ухватившим сразу по нескольку чемоданов и сумок, кажется, что просьба относится к каким-то другим женщинам, возможно, только к гражданкам Вены.

— Женщины, отставьте багаж в сторону!

Почему? Почему? Беспокойство нарастает. Мужчины не могут отличить своего багажа от чужого. Оказывается, этого вовсе и не нужно делать. Женщины стоят большие, массивные, с обвисшими руками, напряжённо вглядываясь в груду спящих вповалку вещей.

Вена плывёт по кругу, вальсирует прибывшими, закручивает их по ступенькам на улицу. Раз-два-три, раз-два-три! Неподвижные женщины, наконец, сдвигаются с места какой-то следующей командой и топчут, как медные всадники, к выходу.

На выходе человек с немецким акцентом призывает в рупор толпу к порядку и рассказывает правила расселения семей в Вене и пригородах. Он небрит. Он не улыбается. Он каждый день видит одно и то же. Но это неправильно. Он просто не любит нас. Поэтому он так помято одет. Предполагалось, что он будет в костюме по случаю и с речью. Мы ведь теперь отданы на произвол судьбы. Нам нет дороги назад. Нас нужно за это вознаградить.

Всё-таки Вена круглая. Непонятно, почему, но — круглая. Может быть, от четырёх бессонных ночей и качки в автобусе. Всё время так и заносит тебя вокруг твоей оси.

Любой эмигрант одет лучше, чем этот небритый.

Все перемещаются к небритому, чтобы дать ему взятку. Он предупреждает, что подарки не повлияют на место расселения. Никто не верит. В конце концов,

небритый оказывается в груди русских сувениров, безразличный и усталый. Каждый отправляется на своё место жительства согласно ранее заготовленному списку. Это цинично.

Вена петляет скоростными дорогами. Водитель пытается уснуть на глазах у всех. Он, видно, профессионал по коротким передышкам за рулём. Огни выныривают из-за неожиданных поворотов и обрушиваются водопадом на сияющие автомобили. Всё есть единый венский театр. Никто не верит, что вещи найдут хозяев. Луна ощупывает себя и понимает, что она искусственная. Другая луна подглядывает за ней и хихикает в облако.

Наконец-то высыпаем на морозный австрийский воздух. Приехали. Водитель взбодрился. Острые звёзды покалывают веки. Острые башни — обледеневшие и чёрные. Хозяин приюта заставляет себя ждать. Приходится ходить кругами по пятакчу палисадника. Раз-два-три! Раз-два-три! Вот он, идёт. Говорит по-немецки, но с акцентом. Кое-кто подозревает, что он из наших. Заблуждение. Беглый румын. Потом уже становится ясно.

В холле сумрачно, но тепло. Никто не собирается давать взятки. Мечтаем уснуть, хоть где-нибудь. Тихо и быстро раздаются ключи. Каждой семье — по комнате. Если в семье пять или больше человек — всё равно по комнате. «Нет, это не справедливо», — трактует полуспящее сознание. «За всё, что мы вытерпели, нам надо каждому — каждому! — по отдельной комнате. Прямо сейчас».

Прямо сейчас все тащатся по своим номерам и, вяло ругая хозяина, сваливаются на тюфяки. Вена кружится всё быстрее и быстрее. Она перетасовывает огни со звёздами, как карточный шулер. Люди в Вене рождаются под рампой с огнями, а не под созвездиями.

Хозяин приюта — еврей. Но никому от этого не лучше.

Мне уже лучше. У хозяина прекрасная постель. Уступил гостевую спальню на ночь, предупредив, однако, чтоб не пользовались душем. Наверное, за то, что мы были единственными, кто ни о чём его не просил. Спи, семья! Ребёнок пахнет ванилью после нелегально принятого душа. Завтра. Все объяснения оставим на завтра.

Снится автобус, и кочки, от которых подташнивает, и раскоряченный памятник красноармейцу на границе.

Потом уже ничего не снится.

## Первая скрипка

Беженцы ели свой обед. Мадам Виннер, демонстрируя отвращение, прошла в кухню. «Шмутциг! Шмутциг!»\*, — говорила она как бы самой себе, и двадцать хозяек на минуту переставали сыпать и лить в кастрюли.

Она терпеть не могла этих беженцев, запрудивших некогда любимое ею пространство. Их мелочная кухонная жизнь, с подсчетом круп и консервов никак

не вязалась в её представлении с тем почти библейским исходом, которому она решила пожертвовать три последних года своей жизни. Уже первые беженцы поразили её своей обыденностью и включенностью в прагматику. Они пытались выпросить себе комнату получше, волновались за свои чемоданы и не испытывали никакой благодарности к мадам Виннер. Это были просто люди, обыкновенные люди, не желающие расставаться с привычным укладом своей уже в щепки разлетевшейся прежней жизни. Мадам Виннер раздражала неподобающая самостоятельность и вызывающая независимость разросшихся по её комнатам и уже пустивших в них корни постояльцев.

— Шмутциг! — и метла пошла стегать ножки стульев в холле, где ели беженцы.

— Папа, не тянитесь, не тянитесь, я всё положила вам на тарелку, — заталкивая все гласные в нос, сердилась хозяйского вида уже не слишком молодая беженка.

Тот, кого называли «папой», — сухой породистый бессмысленный старик — отдернул руку и стал блуждать взглядом поверх тарелок.

— Папа, ешьте! Вам надо особое приглашение? — роняя изо рта картофель, произнес её муж.

Крохотная бабушка, сидящая рядом с тем, кого называли «папой», немедленно надкусила хлеб и наколола на вилку кусочек мяса — мол, а я вот, ем.

Беженкин муж хрустел куриными косточками, сплевывал, отирал горстью губы и ею же охаживал лысину после особенно вкусного куска. Он энергично ел и говорил что-то своей беженке, и слова выпадали из его рта вместе с кусками пищи. Она смеялась и кивала, и тоже отирала рукою губы, и мочки её ушей, спросшиеся со щеками, постоянно шевелились.

Негодующая мадам Виннер мела на едящих.

— А смотри, ей идет эта метла, — проворачивая языком по деснам и сглатывая остатки, сострил беженкин муж.

Сама же беженка наклонила голову и, как курица, боком взглянула на хозяйку.

— Мама, ешьте же, ешьте, — вдруг раздражилась она.

Старушка затряслась над пустой тарелкой, беспомощно выискивая спасительную крошку. Но крошки не было, и она, дабы не гневить дочь или невестку, покорно облизала ложку.

Встрепенувшаяся беженка стала складывать тарелки в стопку, выскабливая остатки и выкладывая их на бумагу. Муж громко срыгнул и отер губы. Мадам Виннер бросила метлу посередине холла, и, тыча пальцем в группу молодых людей, стала требовать, чтобы они продолжили начатое ею дело.

Беженка с пятью тарелками и кастрюлей, которые полностью уместились по длине её тела, побежала на кухню.

Беженкин муж взглянул на великосветского, в прострации, деда, поводит языком по деснам и так же, без интереса, посмотрел в окно. Обед закончен.



— Ну что, — сказал он окну.

Мальчик лет семи с беззащитно увеличенными оптикой очков глазами, наконец, выделился из угла и попытался встать из-за стола.

— Сиди еще! — приказал беженкин муж, заталкивая пальцами слова назад в рот.

Стрекозиный мальчик завращал глазами и снова растворился в углу.

— Охо-хо, охо-хо! — пропел беженкин муж и погладил свободной рукой живот.

За окном смеркалось. Чистые австрийские сумерки.

— Охо-хо, охо-хо! — снова пропел он.

Несколько ребят из группки, в которую тыкала мадам Виннер, со смехом переворачивали стулья сиденьями на столы и мели по очереди ведьминской метлой.

Включили свет, но из пяти лампочек зажглось только три, и половина холла осталась в темноте. Заработал телевизор, дети бросились в первые ряды.

Стрекозиный мальчик тоже поднялся, и отец с сытой гордостью посмотрел, как он занял место во втором ряду, уступив более удобное малышу, не успевшему подскочить первым.

— Э-эх... — удовлетворенно протянул он и подмигнул деду, который продолжал держаться лордом, несмотря на поработавший его сон. — Тонкая душа...

Мальчик был гордостью семейства. Его музыкальная одаренность проявилась рано, и он занял особое положение в семье, будучи непохожим ни на одного из родственников. Его не баловали, но и не были излишне придиричивы, и только старались выполнять всё, что советовал учитель по скрипке. Между мальчиком и родителями не было особого общения. Ребенку просто старались дать необходимое и так выражали свою любовь.

Два месяца назад, поздней ночью, вместе с несколькими десятками других беженцев их высадили возле пансионата мадам Виннер. Всех завели в тусклый холл и стали вызывать к столу глав семейств. Эта процедура почему-то сильно встревожила ребенка. Он долго и внимательно слушал, о чём говорили взрослые возле стола, и немецкий язык, на котором изъяснялся хозяин пансионата, зять мадам Виннер, напомнил ему о чём-то, то ли из фильмов, то ли из бабушкиных рассказов.

Родители видели, как напряженно вслушивался ребенок в переключку, как слегка побледнело его и без того бледное лицо. Наконец, назвали и их фамилию.

— Мееровитш! Мееровитш! — позвал хозяин, чуть раздражаясь от усилий, с которыми нужно было произносить среди ночи незнакомые фамилии.

— «Меерович», «Меерович», же! — снисходительно смеясь, поправил его беженкин муж, собираясь продвинуться к столу.

Но тут мальчик неожиданно оттолкнул отца и стремглав подбежал к хозяину, прижимая к себе футляр со скрипкой.

— Я, я Меерович! — произнес он звонко, чуть запыхавшись.

Мадам Виннер удивленно наклонилась к нему через плечо зятя, чудовищно расплывшись в линзах его стрекозиных очков. Ребенок чуть отступил, но твердо повторил:

— Я Меерович...

В этот момент он чувствовал себя единственным защитником и спасителем своей семьи. Он готов был разделить участь мужчин, стоящих на том конце коридора в ожидании чего-то, ему неизвестного. Поезд, покинутый дом, вокзал, пограничники — всё вдруг обнаружило свой страшный смысл и вылилось в душе ребенка в бурную симфонию жизни и смерти, где ему надлежало исполнить свою первую скрипку.

В холле наступило гробовое молчание. Обострённые недосыпанием человеческие нервы уловили ту единственно верную волну, на которой мыслил и чувствовал этот мальчик. И женщины вдруг запричитали, и стали притягивать к себе своих и без того смиренно сидящих полусонных детей.

— Руиг, руиг!\*\*\* — раздражённо восклицала мадам Виннер. Но это еще больше возбудило толпу.

И тогда зять мадам Виннер обратился ко всем на идише, чего никогда не делал с момента своего побега в Австрию.

Все постепенно успокоились и разошлись по своим комнатам.

Наутро мадам Виннер мела затоптанный за ночь пол, негодуя на постояльцев и пылая в столбах солнечной пыли.

\* *Грязно! (нем.)*

\*\* *Спокойно! (нем.)*

## Последняя осень

Марк Перельштейн, в прошлом румынский беженец, ныне господин Виннер, хозяин загородного австрийского пансионата для беженцев из России, ностальгировал по слякотным румынским сумеркам. Он ностальгировал по глухому двору с оброненными отзвуками собачьего зевка и петушиного всполоха, по стекающему с карниза небу, размазывающему осенний мир по стеклу расплзающегося глиняного домика. В последнее время ему все чаще снились запахи навоза, прелого сена, тёмный угол сырого сарая с воздушными лоскутами паучьего плетения. Во сне он разгуливал по закоулкам своей памяти и отыскивал всё новые и новые места — какие-то балки, лазы, ниши, куда можно было забираться до утра.

Утро наступало безжалостно ясное, без единого облачка и с резким холодным солнцем над Альпами. Переход от сна к яви задерживал его в постели до

появления в дверном проеме ванной энергичного лица жены с чётким рисунком закрученных, как бараньи рога, ноздрей.

Это была последняя осень жизни с беженцами. К весне намечалась полная реконструкция пансионата, и господин Виннер представлял себе глухую зимнюю заброшенность дома с убранный мёртвой кухней и поцарапанной от шахмат и столовых приборов поверхностью столов в обеденном зале. Ему представлялось, как он будет стоять посреди этой тишины поздним утром и слушать, как сами по себе скрипят половицы и дрожит в конце коридора солнечный блик, будто кто-то толкнул дверь к себе в номер. Он даже видел этого «кого-то», полу его тяжёлого халата, стершую пыль с дрогнувшей половицы.

Что-то было такое в этой последней осени, что больно отзывалось в самых глубинах виннеровской души. От этого он ещё острее замечал отрицательные стороны беженства, разрушающего стены его дома и не понимающего, сколь добр был господин Виннер, жертвующий собственным семейным покоем во имя эмигрантского временного благополучия на чужой земле.

К ноябрю в холле стало тише, по утрам почти не тарабанил душ на этажах. Беженцы задумчиво сидели над шахматными досками, которые напоминали желто-коричневые осенние дороги. Играющие не торопились с ходами, тщательно продумывали их, будто собственные судьбы, и от этого были немного похожи на волхвов. Виннер всё чаще останавливался возле них, смотрел на доски, один раз даже попытался подсказать какой-то ход, но никто не обратил на него внимания.

С середины ноября он начал ощущать собственную полупризрачность. Иногда останавливаясь напротив окна, что у входа в кухню, он делался почти невидимым в сокрушительном солнце, и на него невзначай наталкивались, сердясь и не всегда узнавая. Ещё летом это могло бы вызвать в нём возмущение, но сейчас он даже испытывал какое-то наслаждение от своей слитости с эмигрантским миром. Ему нравилось, когда его мимоходом принимали за кого-нибудь другого, обращаясь издали по-русски. Однажды у него возникла фантазия, что он напоминает кого-то из беженцев, проникает в содом беженской семьи и наслаждается по вечерам пустыми разговорами о ценах на базаре за связку бананов и кухонными сплетнями.

Ему всё острее хотелось беженского тепла, той житейской суетливой безыскусности отношений, которая вносила смысл в каждый день бытия. Он выбрал для своих фантазий немолодую женщину Фаину, в толстом пыльном халате путешествующую по коридорам. Её чувственное доброе лицо мягко колыхалось при ходьбе вместе с мешочками под круглыми голубыми глазами, и это усиливало впечатление доброты и тепла, исходившее от неё. Он украдкой наблюдал, как она крупно резала овощи на борщ, крепко и мягко держа их в своих сдобных ладонях. Марк представлял, как пахнут ночью эти ладони — кухней, стиркой, домом. Сворачиваясь калачиком, он перед сном погружал себя в комнатку, заваленную чемоданами и Фаиной спящей семьей, занимающей четыре кровати и раскла-

душку. И это было ему наградой за холодное пожелание «спокойной ночи» на немецком, вежливо произносимое двумя его девочками.

Однажды Фаина не появилась ни на кухне, ни в холле, и коридор пусто зиял в часы её обычного прохода по нему. Старуха Виннер бросила в стирку постели, на которых три недели изнывала Фаинина семья, пропылесосила ковёр и заперла двери на ключ, как бы подытожив всё, что было связано с отбывшей фамилией. Марк вернулся только через два дня после Фаининогo отъезда, увезённый женой куда-то в горы на выходные. Он вошел в столовую и по отсутствию кисло-сладкого запаха Фаининогo борща понял всё.

Стали быстрее осыпаться листья. Старые беженцы постепенно рассеивались, новые не прибывали. Госпожа Виннер каждое утро садилась в автомобиль и укачивала в блестящую венскую, чуждую господину Виннеру, жизнь. Автомобиль поднимал вихрь листвы, и прилив осени захлёстывал пансионат с его обшарпанными стенами и башнями. Господин Виннер смотрел вслед автомобилю и радовался этой прихлынувшей на мгновение лиственной красоте. Потом он возвращался в дом, доставал счета и принимался за свой однообразный труд. Сведение чисел, перепроверка и нахождение верного результата в последнее время всё больше увлекали его. Счёт придавал видимость определённости и осмысленности его жизни. Он даже временами радовался, что ему больше не отправляться по размытым пёстрым дорогам жизни, как его постояльцам.

К концу ноября Виннер уже почти не покидал своего кабинета. Вечерами можно было видеть его профиль, склонённый над бумагами в окне второго этажа. Когда в доме тушили свет, это единственное окно болталось между созвездиями символом космического одиночества.

Потом выяснилось, что господин Виннер немного простудился в горах. Оставшиеся постояльцы ежедневно справлялись о его здоровье у старухи Виннер на полуидише. Уезжая, они махали по направлению виннеровского окна в качестве ритуала. А он всё писал и писал свои числа, будто стараясь упорядочить расплывающееся осеннее мироздание.

В декабре уже никто не справлялся о его здоровье. Пансионат опустел, всех благополучно переправили в Италию, и старуха Виннер отдыхала, расставив ноги, на низкой скамейке посреди зимнего безмолвия.